

УДК 68.49(2Рос)

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА ПАМЯТИ И  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАНОН КАК ОСНОВА  
ОБЩЕГРАЖДАНСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

**КОСОВАН Елена Анатольевна** – кандидат исторических наук, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья ФРБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»

POLITICS OF MEMORY IN MODERN RUSSIA AND RUSSIAN  
MEMORIAL CANON AS A BASIS OF NATIONAL IDENTITY

**KOSOVAN Elena Anatolyevna** - Ph.D in History, associate professor  
Russian State University for the Humanites (RSUH)

**Аннотация.** Статья посвящена исторической политике РФ в 2014-2017 гг. и анализу официального мемориального дискурса как основы социальной стабильности и консолидации российского общества.

**Ключевые слова:** Великая Отечественная война, меморизация, мемориальный конформизм, социальная стабильность

**Abstract.** The article is devoted to the russian historical politics in 2014-2017<sup>th</sup> years. The author analyzes the official canon of historical memory, considered as the basis of social peace and national consolidation.

**Key words:** Great Patriotic War, memorization, memorial conformism, social stability.

*Кругом пожар! В снегу следы!*

*Идут солдатские ряды.*

*И волокут из дальних мест*

*Кривой фашистский флаг и крест.*

*Аркадий Гайдар*

Среди проблем, наиболее популярных в современной научной и общественно-политической среде, символическая политика и ее важнейший элемент - политика памяти являются безусловными лидерами. О них пишут статьи и диссертации, о них дискутируют ученые и политики, деятели искусства и чиновники, ахроники «войн памяти» и сводки «боев за историю» составляют важную часть контента СМИ.

Такое внимание к коммуникативно-символическим формам политики обусловлено тем, что вследствие информационного перехода и формирования потребительского общества «такие нематериальные феномены, как историческая память, нравственный капитал, “символическая сила”, легитимность и т.п., приобрели такое же (или даже более важное) значение, как и традиционные геополитические факторы: территория, военная мощь, экономическая сила или демографический потенциал». В современном мире происходит необратимое «изменение статуса знания и информации, их превращение в товар и одновременно самую значительную ставку в соперничестве за власть», как усиливается «тотальное информационно-идеологическое давление на субъекта в условиях внутрискурсивной борьбы за право “адекватной оценки” текущей политической ситуации» и, наконец, как «сфера публичной риторики становится гораздо важнее административной практики». И в силу таких трансформаций на первый план среди политических коммуникаций выходит именно символическая политика, подразумевающая «острое соперничество различных способов интерпретации социальной реальности» и нацеленная на «внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов при помощи эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации».

С другой стороны, в последней трети XX в. происходит радикальное изменение отношения к памяти и к историческому прошлому. Глобализационные процессы и информационная революция стимулируют и «расстройство

исторической идентичности», и историзацию политики, и «пробуждение памяти эмансипирующихся меньшинств», и «изменение подходов к политической адаптации этнокультурных, расовых, религиозных и гендерных различий, обобщенно называемое мультикультурализмом». Все эти трансформации называют «мемориальным переворотом», вследствие которого «мир затопила нахлынувшая волна вспоминания, прочно соединив верность прошлому - действительному или воображаемому - с чувством принадлежности, с коллективным сознанием и индивидуальным самосознанием, с памятью и идентичностью».

«Мемориальный переворот» закономерно стимулировал рост значимости политических практик, направленных на манипуляции коллективной памятью и историческим прошлым, поскольку именно эти два элемента являются основой общегражданской идентичности – по Э. Дюркгейму и М. Хальбваксу, необходимым условием функционального благополучия любого социума.

Особенно велика значимость таких практик и их теоретического, научного осмысления в государствах постсоциалистических и постсоветских, переживших «третью волну демократических транзитов». Именно затянувшимся транзитом от тоталитарного общества к демократическому, а также неоднозначностью процессов замены советского идеологического «метанарратива» постсоветскими конструкциями обусловлена высокая актуальность *memory studies* в современной России.

Хотя *memory studies* являются довольно молодым направлением, в исследованиях политики памяти вообще и ее российского варианта нет недостатка. В первую очередь следует упомянуть М. Хальбвакса, П. Нора, М. Шадсона, Д. Белла, Я. и А. Ассманов, Э. Лангенбахера, чьи работы составляют корпус «классической мемориалистики». Что касается феномена советской и российской политики памяти, в западной историографии этот сюжет представлен исследованиями М. Урбана, Д. Уэртша, Г. Гилла, Н. Тумаркин, М. Феретти, М. Кангаспура, а в историографии отечественной – Н.Е. Копосова, А.И. Миллера, О.Ю. Малиновой, В.А. Ачкасова и др.

Таким образом, интересующую нас проблему нельзя считать маргинальной ни в российской, ни в зарубежной науке. Однако рискну предположить, что один ее аспект все же ускользает от внимания исследователей. Это деструктивный потенциал государственной политики памяти, связанные с ним риски и негативные последствия, обусловленные специфическим характером российского социума. В российской историографии подобных работ очень мало – это в первую очередь публикации Д.А. Аникина, а также Е.В.Беляева и А.А. Линченко. Кроме того, нельзя не упомянуть и работу С.А. Ушакина с говорящим заголовком «Патриотизм отчаяния: нация, война и утрата в России (Культура и общество после социализма)». Таким образом, учитывая важность исследования мемориально-политических рисков, количество посвященных им исследований недопустимо мало, изданная статья является новой попыткой первичного анализа рисков государственной политики памяти на примере ее «ключевого звена» - Великой Отечественной войны.

Историческая политика или политика памяти всегда содержит некоторую долю алармизма, она всегда мобилизационна – такова ее сущность, обусловленная целями «символической борьбы за интерпретацию прошлого» - легитимации или делегитимации существующего режима, конструирования определенной идентичности, мобилизации и сплочения нации.

Вполне отвечала этой характеристике советская политика памяти, которую вслед за Д. Уэртшем можно охарактеризовать как эксплуатацию шаблона «победы-над-враждебными-силами» и которая являлась производной политической и экономической модели Советского Союза, также носившей мобилизационный характер и эффективно функционирующей на протяжении довольно долгого времени – с 1920-х гг. примерно по начало 1960-х.

Однако в 1960-е гг. модель эта начала пробуксовывать и вместе с ней пошла вниз эффективность советской мемориальной системы. Символично, что именно в этот период на первый план в советском мемориальном каноне начинает выдвигаться Великая Отечественная война и начинается зарождающаяся ее культ.

Однако это не помогло ни смягчить социокультурный кризис в СССР, ни остановить процесс делигитимации советского режима.

В 1990-е гг. разом утратили свое значение социалистические морально-нравственные ориентиры, подверглась глубокой эрозии советская же гражданская и социокультурная идентичность, а самое главное – начала обесцениваться семидесятичетырехлетняя советская история. Из-под ног постсоветского человека была в буквальном смысле выбита почва. И если вспомнить концепцию кризиса исторической памяти Йорна Рюзена, это был истинный «критический кризис», поставивший под сомнение «возможность воспринимать и адекватно интерпретировать прошлый опыт, зафиксированный в исторической памяти» и стимулировавший формирование исторического сознания нового типа.

Начались мучительные поиски новой идентичности и новых мировоззренческих парадигм, нащупывание новых культурных фреймов. Одновременно властные элиты новой России приступили к формированию новой макрополитической идентичности, и этот процесс подразумевал не просто «трансформацию исторического нарратива, то есть смысловой схемы коллективного прошлого», но, учитывая политические реалии 1990-х гг., подразумевал серьезную конкурентную борьбу за монополию на производство общественно значимых смыслов и общепризнанных представлений о коллективном прошлом.

Дополнительная сложность заключалась в том, что у новой властвующей элиты отсутствовала сколько-нибудь цельная теория постсоциалистического перехода, на которой можно было бы выстроить стратегию символической политики. А потому она, работая с прошлым, продолжала эксплуатировать перестроечный нарратив, который явно не соответствовал стоящим перед руководством страны задачам. Социум 1990-х гг. остро нуждался в позитивных символах, тогда как перестроечный нарратив был негативно-критическим и, кроме того, не предлагал сколько-нибудь привлекательных для большинства россиян схем строительства общего будущего. Основанная на критике советского периода легитимация власти была очевидно слишком шаткой, а использование

досоветского периода в качестве ресурса позитивных символов российским властвующим элитам не удалось - его было слишком трудно «привязать» к конкретным нуждам символической политики конца XX в.

Поэтому уже во второй половине 1990-х гг. руководство страны в поиске компромиссного способа сплочения общества и собственной легитимации было вынуждено обратиться к советскому прошлому, попытавшись отделить деяния тоталитарного режима от «истории народа» и на такой методологической основе сформировать новый мемориальный канон.

Перебирая сброшенные с пьедестала советские мифы, святыни и мемориальные паттерны, власти вновь обратились к Великой Отечественной войне, которая, несмотря на «разоблачения» эпохи перестройки и первых постперестроечных лет, не утратила ни своего величия и авторитета, ни консолидирующей способности.

Уникальность Великой Отечественной войны как символа очень точно угадал Д. Быков: «перед лицом конца света, люди едины против нелюдей». Люди против нелюдей, добро против зла – это не эпизод, а архитип, он вечно актуален и не зависит ни от политической ситуации в стране, ни от симпатий и антипатий правителей, ни от наполненности прилавков. Других событий в новейшей истории России, которые могли бы в этом смысле конкурировать с ВОВ, просто нет.

Следует также обратить внимание на «понятность» военного мифа, доступность святыни. Великая Отечественная война - это практически наша современность, по историческим меркам она произошла даже не вчера, а сегодня утром. И мы с легкостью можем примерить на себя роль любого из ее героев (представить себя героем Отечественной войны 1812 года или стояния на Угре не в пример сложнее, а главное - не столь удовлетворяет эмоционально, не столь мобилизует).

Еще более важно то, что в мемориально-политическом образе Великой Отечественной войны идеально совпадают две основополагающие для социального единения вещи - триумф и травма. Триумф и травма – это те

историко-культурные фреймы, в которых наиболее эффективно реализуется «мифомоторика конструирования национальной идентичности». Представления нации о самой себе всегда происходит либо через «эйфорический апогей коллективного превосходства», либо через «глубокое унижение и оскорбление», причем, как метко указывал Эрнест Ренан, «общие страдания соединяют больше, чем общие радости. В деле национальных воспоминаний траур имеет большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие усилия». Это особенно верно в отношении ВОВ и России, где «нет семьи такой, где б не памятен был свой герой».

За первые пять лет пребывания у власти ельцинская властвующая элита, несмотря на все старания, так и не смогла найти событие в новейшей истории России, которое было бы столь же поливариантным и одновременно обладающим столь мощным консолидирующим эффектом, как Великая Отечественная война и потому во второй половине 1990-х гг. произошло возвращение руководства РФ к событиям 1941-1945 гг. как к важному элементу новой исторической политики. Причем во второй половине 1990-х гг., а также в первое десятилетие XXI в. в российской политике памяти эксплуатировалась преимущественно гуманистическая, а не политическая составляющая этого события – страдания и подвиг народов СССР, общечеловеческая ценность победы и т.п. Это диктовалось, с одной стороны, необходимостью не отступить от принципа «отрицания тоталитарного прошлого», а с другой – акцентировать «единство бывших союзных республик, напомнить Западу о былом сотрудничестве союзников по антигитлеровской коалиции и указать на необходимость преодоления “взаимного недоверия и страха”, порожденного эпохой “холодной” войны». Критикам ельцинского режима, политическим соперникам властвующих элит было трудно что-либо возразить против такой стратегии. Критиковать и оспаривать можно было новые способы коммеморации войны и победы, но ни одна сколько-нибудь значительная политическая сила в России не ставила под сомнение значение самой войны и памяти о ней.

Эта стратегия продолжала использоваться и преемником Бориса Ельцина - Владимиром Путиным в течение его первых двух президентских сроков. Однако к концу первого десятилетия XXI в. она начала трансформироваться.

Если во второй половине 1990-х и начале 2000-х гг. в официальной мемориальной политике господствовал принцип отделения «советского режима», олицетворяемого И.В. Сталиным, от советского народа и «народных полководцев» во главе с Г.К. Жуковым, то позже значение этого разделения редуцировалось, а примерно после 2014 г. – сошло на нет. Великая Отечественная война и Великая Победа репрезентовались как единый и неделимый подвиг власти и народа.

Если во второй половине 1990-х гг. и в течение «нулевых» память о Великой Отечественной войне использовалась как начало, объединяющее Россию, постсоветские страны и государства Запада, уравнивающее их («люди против нелюдей»), то в 2010-е гг. она все чаще стала использоваться «для репрезентации Нас...в некоторых отношениях морально превосходящих Значимого Другого, традиционно именуемого “Западом”». Более того, образ Великой Победы в официальной риторике российских властей быстро эволюционировал от гуманистического к этнополитическому и из «общего дела» всех союзников превратился в сугубое «спасение советскими солдатами Европы от фашизма».

Причина таких трансформаций заключалась в первую очередь в то, что во второй половине 2000-х гг. особенно актуализировалось соперничество российского мемориального канона и мемориальных канонов постсоветских и постсоциалистических государств, которое в 2010-е гг. превратилось в настоящую «войну памяти». Попытки Украины, Молдовы, стран Балтии, Польши, Чехии и других держав переоценить роль СССР в Великой Отечественной войне, введение в научный и публицистический дискурс проблемы «Сопротивления народов СССР» (в России однозначно квалифицируемой как коллаборационизм), сопоставление германского нацизма и советского тоталитаризма и т.п. – все это стало серьезным вызовом для российской мемориальной политики, поскольку

поставило под сомнение ее центральную идею – «Россия – освободитель Европы от фашизма».

В результате образовался замкнутый круг: «война памяти» укрепила значимость символа Великой Победы в качестве «маркера современной российской идентичности» и ускорила превращение Великой Отечественной войны даже не в «последний бастион», который нужно защищать любой ценой, а в своего рода секулярную религию. Одновременно крайне актуализировалась оценка победы как символа превращения «угнетенной и запуганной страны в величайшую и сильнейшую державу мира, которая фашистов задушила и еще кого хочешь теперь задушит». Иными словами, в российской символической политике конца 2000-2010-х гг. начался стремительный рост алармизма и Великая Отечественная война стала уникальным элементом сформировавшегося к тому времени мемориального канона, эффективно обслуживающим алармистский внутри- и особенно внешнеполитический дискурс.

Примечательно, также, что хотя «значимость Великой Отечественной войны как центральной части российской политики памяти и нового мемориального канона продолжала расти...этот рост не сопровождался осмыслением событий 1941-1945 гг. как «сложного и противоречивого комплекса». Напротив, их активное использование в качестве позитивного символа единения, как основного ресурса «конструирования идентичности сообщества, стоящего за новым Российским государством» побуждало власти «настороженно относиться к любым попыткам его критической интерпретации», а после 2014 г. - стимулировало неприятие любых попыток ревизии памяти о войне, в том числе научных.

Все это весьма тревожно. И у этой тревоги есть несколько причин.

Во-первых, произошло крайнее упрощение, даже примитивизация российского мемориального канона. Сейчас он состоит, по сути, из одного события – Великой Отечественной войны, и это событие наделено сверхценностью, всеобъемлющим значением, мерилom абсолютно любых действий, фактов и явлений современности. Такое упрощение делает российскую

политику памяти ригидной, тенденциозной, способной к консолидации только по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Во-вторых, рост значения Великой Отечественной войны в российской мемориальной политике происходит параллельно с нарастанием алармистских настроений во внутренней и внешней политике РФ и эти два явления очевидно взаимосвязаны. Идея противостояния «людей и нелюдей» утрачивает свой гуманистический смысл и становится средством политического манипулирования, часто неоправданного, которое ведет к девальвации самой идеи такого противостояния.

В-третьих, рост значимости Великой Отечественной войны как центральной и в общем-то единственной сверхценной составляющей российского мемориального канона сопровождается все более жестким табуированием любых вопросов, проблем и исторических сюжетов, которые могут поколебать зафиксированную в этом каноне версию событий 1941-1945 гг. Мемориальный канон превращается, таким образом, в своего рода канон квазирелигиозный.

Наконец, в четвертых, и это кажется наиболее важным, нельзя забывать, что российское общество – общество посттоталитарное, которому свойственен определенный тип мышления. С одной стороны, как справедливо отмечает М.В. Егунева, идеологическая система СССР, эксплуатировавшая характерный для русской культуры архетип «добро-зло», исключала возможность существования нейтрального мира. «Бинарное черно-белое мышление принимает простую программу объяснения мирового порядка. Модель мира представлена в этом случае простой структурой из двух элементов, двух нравственно противоположных сил. В ментальной системе российского общества эти посттоталитарные установки сохраняются, усиливая восприимчивость этого общества к информации с алармистским мобилизационным подтекстом и опасно радикализируя его.

С другой стороны, еще в 1990-е гг. социолог Ю.А. Левада отметил, что тоталитарная идеология сформировала особый тип человека – «человека лукавого». Для него характерны легковесность политического и гражданского

выбора и стремление приспособиться к социальной действительности, «ища допуски и лазейки в ее нормативной системе, т.е. способы использовать в собственных интересах существующие в ней “правила игры” и в то же время...постоянно пытаюсь в какой-то мере обойти эти правила». Такое отношение обусловлено в том числе и скептическим отношением населения к главному субъекту мемориальной политики – той политической системе, в которой «главную роль играют интересы олигархии и высшей бюрократии, проявляющих низкую степень интереса к национальным приоритетам внутренней политики», которая отличается инертностью, очень лабильной системой ценностей, коррумпированностью.

Повышенный конформизм и склонность российского общества к «манипулированию манипулированием» делает его очень сложным и непредсказуемым объектом символической политики вообще и политики памяти – в частности. А учитывая реальную и мнимую восприимчивость «человека лукавого» к мемориальной мобилизации, можно с большой долей уверенности предположить, что современная российская мемориальная политика – централизованная, монистическая, этноцентричная, обладающая слабой социальной адаптивностью - может иметь случайные и трудно управляемые результаты.

С одной стороны, уже сейчас социологи отмечают «рост неоконсервативных настроений», который особенно тревожен на фоне «снижения общего уровня исторических знаний», ослабления способности «среднестатистического» человека к критическому переосмыслению прошлого. Такое сочетание чревато развитием радикализма, особенно среди молодежи.

С другой стороны, российское общество очень неоднородно и политически, и этнически, и социально, и демографически, тогда как отечественная политика памяти, будучи жестко монистической по своей сути, предлагает некий унифицированный, бедный событиями мемориальный канон с неясной ценностной системой, который способен, как минимум, углубить противоречия в обществе и даже спровоцировать серьезный раскол (что особенно возможно, если

учесть неумение и нежелание государства как главного субъекта мемориальной политики взаимодействовать с другими политическими субъектами – оппозиционными политическими партиями, «нонконформистской» частью научного сообщества и СМИ, НКО и т.д.).

Подводя итоги, отмечу, что в течение 2000-2010-х гг. Великая Отечественная война постепенно эволюционировала от важного компонента российской политики памяти к смысловому центру всей новейшей истории России и стала единственным элементом мемориального канона, который, по мысли руководства страны, может действительно способствовать общенациональной консолидации. Сейчас значимость ВОВ для сплочения социума и легитимации власти стала гораздо более высокой, чем в советское время. Однако учитывая состояние российского социума и высокую степень алармизма отечественной мемориальной политики, позитивная консолидирующая способность событий 1941-1945 гг. остается под вопросом.

#### Литература

1. Аникин Д.А. Историческая память в глобальном обществе: между диалогом и конфликтом // Историческая память и диалог культур: Сб. материалов Международной молодежной научной школы. Т. 1. Казань: Издательство КНИТУ, 2012.
2. Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
3. Беляев Е.В., Линченко А.А. Государственная политика памяти и ценности
4. массового исторического сознания в современной России: проблемы и противоречия //Studia Humanitatis. 2016. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-pamyati-i-tsennosti-massovogo-istoricheskogo-soznaniya-v-sovremennoy-rossii-problemy-i-protivorechiya>.
5. Быков Д.Л. Мировая война Бориса Стругацкого // Сноб. 2010. №5 (20). URL: <https://snob.ru/magazine/entry/18595>.
6. Он же. Советская литература. Краткий курс. М.: ПРОЗАиК, 2017.

7. Егунова М.В. Тоталитарное мышление: деконструкция ментальности // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 1 (107). С. 4-7.
8. Левада Ю.А. Человек лукавый: двоемыслие по-русски // От мнений к пониманию. Социологические очерки 1993–2000. М.: Московская школа политических исследований, 2000. С. 508–529
9. Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.
10. Она же. Проблема политически «пригодного» прошлого и эволюция официальной символической политики в постсоветской России // Политическая концептология: журнал междисциплинарных исследований. 2013. № 1. С. 114-130.
11. Она же. Эволюция символической политики и дилеммы российской идентичности. Ресурсы исторической политики в постсоветской России: этапы освоения // Интернет-журнал «ГЕФТЕР». 03.06.2015. URL: <http://gefter.ru/archive/15351>.
12. Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. №2-3 (40-41). URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html>.
13. Он же. Проблематика мест памяти // Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де, Винок М. Франция-память. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1999.
14. Он же. Расстройство исторической идентичности // Мир истории. 2010. №1. URL: <http://www.historia.ru/2010/01/nora.htm>.
15. Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция: понятий для подхода к проблеме // Политические исследования. 1999, № 5. С. 62-75.
16. Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений в 12-ти томах. Перевод с французского под ред. В.Н. Михайловского. Т.6. Киев: Издание Б.К.Фукса, 1902. URL: [http://www.hrono.ru/statii/2006/renan\\_naci.php](http://www.hrono.ru/statii/2006/renan_naci.php).
17. Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). М.: ГУ ВШЭ, 2003.

18. Символическая политика: Сб. науч. тр. / Отв. ред.: Малинова О.Ю. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: ИНИОН РАН, 2012. – 334 с.
19. Томбу Д.В. Политическая коммуникация в обществе потребления // Преподаватель XXI век. 2014. №3. Т.2. С. 387-397.